

ТРИ ЭПИГРАФА К РАЗГОВОРУ

«Станислав Рассадин внешне — интеллигент-очкарик, а физически весьма силен; грозный ругатель, отчасти пуритан в отношениях дружеских и деловых; — он при этом настолько добр, что тратит немало усилий на скрытие этой слабости».

Натан Эйдеман

«Два с лишним года тому назад я опубликовал в газете «Московский литератор» письмо, в котором обращал внимание общественности на то, что критик С. Рассадин позволяет себе в «коллежеских» статьях оскорбления и клеветнические выпады по отношению ко мне...»

Станислав Кузнецов, газета «День», 2-3 августа 1992 года.

«Кто же судит — и, быть может, давно пора — разойтись, разойдись, как говорится, красиво. Не толкаясь, враспыхивая, поодиночке, прощаясь с являющимися стадами, с нашей вечной партией...»

Станислав Рассадин, литературная газета, 22 июля 1992 года.

— Станислав Борисович, вернемся на несколько лет назад. Для многих номеров обновленного «Огонька», со статей о литературе — вехи Бенедикта Сарнова, Татьяны и Натальи Ивановых. Если перелестать те подлинники — многое покажется наивным, но очевидно, что весь круг авторов «перестроенного» «Огонька» участвовал в процессе, лишь косвенно отражающемся в литературной критике или публицистике. Разговор шел как бы о литературе — из самого дела совершенно о другом. Тот процесс завершился. Можем ли сейчас сказать, где вы и с кем вы?

— Я не могу на себя глядеть со стороны и, тем более, анализировать, какие со мной произошли перемены. Это вращающее профессиональному самоученику знание. Но вообще должен вам сказать, что я очень давно не ощущаю себя участником процесса. Просто между мной и «процессом» возникли какие-то совпадения. Может, это прозвучит самонадеянно, но я никогда не был «чужим» человеком.

Когда-то, например, я считался критиком «Нового мира». И даже попал в знаменитое «Писем» — «Одиннадцатый» — авторы его назвали мне честь, назвав мое имя в ряду пяти чудовищных, канитовских критиков, подрывающих основы социалистического строя... Но это, к сожалению, неправда, я не был человеком и «Нового мира». Давно когда-то Мария Илларионовна Твердовская, с которой мы познакомились в Доме творчества, предложила мне написать воспоминания для сборника «Писем Твердовского». Она была потрясена, когда я сказал ей, что никогда в жизни Твердовского не видел. — Как? Вы же были одним из самых активных критиков «Нового мира»! — Там не менее, мы ни разу не встречались. Когда я стал печататься в «Огоньке», то с Керетичем мы виделись всего два-три раза — у нас было чисто шапочное знакомство... Дело в том, что я лично не люблю лезть к начальству — дорожусь оно или не дорожит. Больше всего, конечно, может, это болезнью, собственную независимость. И вообще, главное достижение моей жизни — то, что я всегда создавал вокруг себя некий вакуум. Я не ходил на собрания, не вступал ни в какие группы. Не говорю уж про партийность...

— Однако же со стороны вы всегда воспринимались как человек определенного лагеря.

— Конечно, если вы это видите — значит, это справедливо. И если у меня такая репутация, пусть она очень схематична — то я ею по-моему дорожусь. Просто я не прилагал никогда никаких усилий, чтобы примкнуть к определенному лагерю... И, кстати, связь книги я написал, как раз в тот период, когда был вынужден из критики — после закрытия «Нового мира». То есть критикой было заниматься как бы можно, но она просто потеряла смысл. Поскольку можно было ругать Евтушенко и Вознесенского, но нельзя было ругать, допустим, Софроню. Я ушел из критики, зарабатывая посторонними делами, собрался писать в стол книгу о Пушкине. И мне срочно понадобилось. Меня выпроводили очень хороший человек — издательство «Искусство» и предложил мне писать эту книгу легально. С этого началась, быть может, самая лучшая мой рабочий период. Я написал книги о Пушкине, о Фонвизине, о Сухово-Кобылине, и книгу «Спутники» о поэтах 19 века. И у меня исчезла соблазна заниматься критикой — я стал заниматься тем, к чему меня тянуло больше всего. И что в моей жизни было лучше — из всего, при этом, в этом, сейчас 19 век — моя сокровища. И долго будет хвалить.

— Последние пять лет не отлучили вас от 19 века?

— Нет, я из него не ухаживаю. Продолжаю заниматься, но большая часть у себя в подполье... А кроме того, «вечные» статьи выходят. В «Знамени» была очень для меня важная статья, она называлась «Без Пушкина, или Начало и конец гармонии». Там я, наконец, сформулировал для себя суть явления русской поэзии, как она возникла и почему она исчезла, как я считаю. Кроме того, написал для зарубежной истории русской литературы цикл статей, посвященных 19 веку. И потихонечку готовлю две книги, которые вообще не обязательно будут опубликованы, но написать я их намерен. В одной из них — хочу собрать и подытожить мои давние размышления о Мандельштаме. Другая — со слепка огромным названием «О психике, графомане и дурраке совершенно серьезно». Правда, книга отнюдь не фельетонная, наоборот. Книга об очень серьезных вещах, там будет история литературы, и роль графомана в литературе — процесс, и роль безумия даже. Там будут и Ватюшкин, и Хвостов, и Собольский, и Митяев... Почти сплошь девятнадцатый век. Оттуда все мои пристрастия, вся моя любовь.

Тем не менее и публицистическая ваша деятельность не утратила притом, что многие из тех, кто был с вами рядом на страницах того же «Огонька», замолчали или разбежались. Вы, Станислав Борисович, с пренебрежением к охоту занимаетесь публицистикой?

— Может быть, даже с большей. Да и слово «охота» здесь не подходит — это не охота, а боль... Мне больно писать о том, о чем я сейчас пишу! Раньше — была охота, было больше азарта, спортивного интереса: врезать, вмазать... Ну, это было довольно глупо. Те мои статьи — более броские, более, может быть, агрессивные. Было — как в коркавинских стихах: «Вот пред тобой, а друзья за тобой». Сейчас я, к сожалению, больше пишу как раз о том, что мне разонравились люди, которые раньше нравились. И меня сейчас больше пугает не какая-нибудь погань вроде Кузнецова или Проханова. Меня пугает то, что происходит, допустим, с Гавриилом Поповым, с людьми этого типа. Люди вашего поколения, «шестидесятники», сегодня, и правда, дают все больше поводов для разговора. Я знаю, что вы выступаете с такими идеями, что число красноречивых примеров увеличивается. И даже не политический, а политический. Вот, например, потерпели Бурлацкий и Керетич. Или противостояние разрушительное по своим результатам, Ефремова и Воронина, Любимова и Гусенко. Или отъезд вашего давнего любимца — Михаила Козлова. А из совсем свежих примеров — сценарий Говорухина и Юрия Власова...

— Во всех этих примерах я не вижу ничего «поколенческого». Говорухин, к примеру, мне совершенно не интересен. То, что случилось с Власовым, — закономерно. Он плохой литератор, и ему просто некуда было больше пойти, как к национал-патриотам. Там легко прощают друг другу бездарность, то как Козлов. Его отъезд — это то, что там с ним происходит, — это моя личная драма, настолько глубокая, что...

Если говорить о сегодняшней атаке на «шестидесятников», меня раздражает именно то, что она неискренняя! Все задним числом спланирует гораздо сильнее, чем это было на самом деле.

— Я не хочу говорить. Я очень о нем жалею, но не потому, что он человек моего поколения. Просто я любил его и люблю. Что касается Таганки, этот театр мне всегда был чужим. Для меня он был некоем «советским», наиболее «коммунистическим» из всех театров. Я туда ходил — и перестал... Но все это никакое отношение к поколению не имеет.

И, кстати, адвокатом «шестидесятников» я не выступал. Если на то пошло, я сейчас в роли прокурора, который просит не смертельного приговора, а, скажем так, десяти лет. Да еще в колонии не усиленного режима. Дело в том, что еще задолго до нынешней «новой волны», неоправданной и нормальной, я считал, что «шестидесятники» как к главным виновникам всех наших бед, я сам все время боролся с этой шестидесятичной эйфорией, с их самозащитой... Но ведь именно вы, как известно, ввели само слово «шестидесятники» в обиход.

— Я просто в молодости сделал одну глупость. Я написал самую глупую статью в своей жизни под названием «Шестидесятники». Она была, во-первых, демагогическая, я употреблял там много слов просто для камуфляжа, типа «воспитание правдой». В ход у меня там шел и Слуцкий, и Аксенов, и что угодно. Вот была такая дурацкая статья, которую тогда были Керетич и ЦК ее ругали, и имела она успех очень скромный... Только один мой старый друг Эмма Менделю, он же Наум Керетич, сказал мне, что статья глупая... Слово «шестидесятники» пошло от нее, но это небольшая заслуга. У меня это слово возникло как раз потому, что я раньше занимался шестидесятичниками прошлого века... Но все же самым главным камуфляжом для меня было то, что мне тогда говорил тот же Керетич: ты не похож на свое поколение. Это мне льстило как ничто другое! Свое поколение я всегда недолюбливал. Не было момента в моей жизни, чтобы мне нравились бы что-то у Евтушенко. Причем меня бы раздражал не столько эстетически — причиной раздражения было, наверное, мое несовершенство... Мне казалось: вот только я начинаю всерьез читать, а Евтушенко сразу или как-то комплексами, как Жванцери, Евтушенко успевает заскочить вперед — и ополнись, выдать неадекватно облегченную формулу моего настроения. Чуткость его нереально! — Это говорит больше о вашей с ним близости...

— Понимаете, время все равно сближает всех... Ну а в последние годы, когда шестидесятичники начали говорить, как они были хороши, как они были хороши, я тоже начал говорить, что я тоже был хорошим. Просто я не могу самодовольства. Я в эстетически разоблачал эту поколенческую эйфорию.

Когда сейчас ругают шестидесятичников, причем всех, без разбору — меня это тоже раздражает. Прежде всего потому, что, как правило, — заметаете ли вы, — называют конкретные имена одного имени. Это же очень удобно — долбить какое-то совершенно абстрактное понятие. Я уже не раз писал, потребовав назвать имена! Ну хотя бы по отношению к литературе. Аксенов — шестидесятник? Да, безусловно. Он так и остался шестидесятичником. Мы с ним когда-то дружили, в потом, как говорится, творчески разошлись. Я категорически разлюбил то, что он писал, именно потому, что в нем, в Васе, так и остались все эти котельничные, условные говоря, идеалы. Хотя, конечно, это все потом растерялось в чем-то другом, Евтушенко — шестидесятник? Да, в этом смысле, безусловно. Искандер — шестидесятник? Никогда ни не был. Коржавин? Никогда не был. Слуцкий? Был, поскольку в нем тоже жили какие-то партийные интересы, партийные иллюзии. Окуджава был? Был. Перестал? Местом. Все очень по-разному, по-разному.

— Разве дело только лишь в партийных иллюзиях?

— Я думаю, что все-таки да... Говорят о поколении — вообще дело опасное. Я это сформулировал уже, что шестидесятичниками — не поколение, а строгий смысл слова, потому что они складывались в эйфорию. А поколение если что и спланирует — то общая беда. Но я так написал, а потом понял, что и это неверно. Потому что и беда спланирует ненадолго. Вот военные поколения литераторов — оно было на-

более сплоченным. Но как быстро они разбежались! Ну, условно говоря, где Бондерева, где Бакланов? С шестидесятичниками же, понимаете, какая штука... Было настроение общее, которое многие разделяли. Люди с иллюзиями, люди без иллюзий, и лучшие, и худшие. Это было то, что сформулировал не Окуджава, не Слуцкий, не Евтушенко, а Радищев. В оде «Евнухи». Но многим нашим настроениям приложили эти строчки: «О, воля, воля, дар бесценный, позволю, чтоб раб тебя воспел...» Вот это необходимо для общества состояние, когда раб, еще будучи рабом, просит у самой воли разрешения ее воспеть, — это и есть, если угодно, шестидесятичнический комплекс... Но, понимаете, я все равно не люблю этих абстрактных понятий, хоть и приходится ими пользоваться. И тогда мы были все очень разные. Естественно, чем хотелось быть близкими друг другу, и в рамках было всевозможное, и всевозможные привнесения... Это тоже имело значение! Я в то время очень сильно пил, как все мы. А когда поубавил — вдруг увидел, что многие из моих друзей мне стали гораздо менее интересны... Это и есть подобие той иллюзорной шестидесятичнической близости. И тоже проходит быстро. Или надо перестать пить — или расстаться с какими-то иллюзиями...

Если говорить о сегодняшней атаке на шестидесятичников, меня раздражает именно то, что она неискренняя! Все задним числом спланирует гораздо сильнее, чем это было на самом деле.

— Я не хочу говорить. Я очень о нем жалею, но не потому, что он человек моего поколения. Просто я любил его и люблю. Что касается Таганки, этот театр мне всегда был чужим. Для меня он был некоем «советским», наиболее «коммунистическим» из всех театров. Я туда ходил — и перестал... Но все это никакое отношение к поколению не имеет.

И, кстати, адвокатом «шестидесятников» я не выступал. Если на то пошло, я сейчас в роли прокурора, который просит не смертельного приговора, а, скажем так, десяти лет. Да еще в колонии не усиленного режима. Дело в том, что еще задолго до нынешней «новой волны», неоправданной и нормальной, я считал, что «шестидесятники» как к главным виновникам всех наших бед, я сам все время боролся с этой шестидесятичной эйфорией, с их самозащитой... Но ведь именно вы, как известно, ввели само слово «шестидесятники» в обиход.

— Я просто в молодости сделал одну глупость. Я написал самую глупую статью в своей жизни под названием «Шестидесятники». Она была, во-первых, демагогическая, я употреблял там много слов просто для камуфляжа, типа «воспитание правдой». В ход у меня там шел и Слуцкий, и Аксенов, и что угодно. Вот была такая дурацкая статья, которую тогда были Керетич и ЦК ее ругали, и имела она успех очень скромный... Только один мой старый друг Эмма Менделю, он же Наум Керетич, сказал мне, что статья глупая... Слово «шестидесятники» пошло от нее, но это небольшая заслуга. У меня это слово возникло как раз потому, что я раньше занимался шестидесятичниками прошлого века... Но все же самым главным камуфляжом для меня было то, что мне тогда говорил тот же Керетич: ты не похож на свое поколение. Это мне льстило как ничто другое! Свое поколение я всегда недолюбливал. Не было момента в моей жизни, чтобы мне нравились бы что-то у Евтушенко. Причем меня бы раздражал не столько эстетически — причиной раздражения было, наверное, мое несовершенство... Мне казалось: вот только я начинаю всерьез читать, а Евтушенко сразу или как-то комплексами, как Жванцери, Евтушенко успевает заскочить вперед — и ополнись, выдать неадекватно облегченную формулу моего настроения. Чуткость его нереально! — Это говорит больше о вашей с ним близости...

— Понимаете, время все равно сближает всех... Ну а в последние годы, когда шестидесятичники начали говорить, как они были хороши, как они были хороши, я тоже начал говорить, что я тоже был хорошим. Просто я не могу самодовольства. Я в эстетически разоблачал эту поколенческую эйфорию.

Когда сейчас ругают шестидесятичников, причем всех, без разбору — меня это тоже раздражает. Прежде всего потому, что, как правило, — заметаете ли вы, — называют конкретные имена одного имени. Это же очень удобно — долбить какое-то совершенно абстрактное понятие. Я уже не раз писал, потребовав назвать имена! Ну хотя бы по отношению к литературе. Аксенов — шестидесятник? Да, безусловно. Он так и остался шестидесятичником. Мы с ним когда-то дружили, в потом, как говорится, творчески разошлись. Я категорически разлюбил то, что он писал, именно потому, что в нем, в Васе, так и остались все эти котельничные, условные говоря, идеалы. Хотя, конечно, это все потом растерялось в чем-то другом, Евтушенко — шестидесятник? Да, в этом смысле, безусловно. Искандер — шестидесятник? Никогда ни не был. Коржавин? Никогда не был. Слуцкий? Был, поскольку в нем тоже жили какие-то партийные интересы, партийные иллюзии. Окуджава был? Был. Перестал? Местом. Все очень по-разному, по-разному.

— Разве дело только лишь в партийных иллюзиях?

— Я думаю, что все-таки да... Говорят о поколении — вообще дело опасное. Я это сформулировал уже, что шестидесятичниками — не поколение, а строгий смысл слова, потому что они складывались в эйфорию. А поколение если что и спланирует — то общая беда. Но я так написал, а потом понял, что и это неверно. Потому что и беда спланирует ненадолго. Вот военные поколения литераторов — оно было на-

более сплоченным. Но как быстро они разбежались! Ну, условно говоря, где Бондерева, где Бакланов? С шестидесятичниками же, понимаете, какая штука... Было настроение общее, которое многие разделяли. Люди с иллюзиями, люди без иллюзий, и лучшие, и худшие. Это было то, что сформулировал не Окуджава, не Слуцкий, не Евтушенко, а Радищев. В оде «Евнухи». Но многим нашим настроениям приложили эти строчки: «О, воля, воля, дар бесценный, позволю, чтоб раб тебя воспел...» Вот это необходимо для общества состояние, когда раб, еще будучи рабом, просит у самой воли разрешения ее воспеть, — это и есть, если угодно, шестидесятичнический комплекс... Но, понимаете, я все равно не люблю этих абстрактных понятий, хоть и приходится ими пользоваться. И тогда мы были все очень разные. Естественно, чем хотелось быть близкими друг другу, и в рамках было всевозможное, и всевозможные привнесения... Это тоже имело значение! Я в то время очень сильно пил, как все мы. А когда поубавил — вдруг увидел, что многие из моих друзей мне стали гораздо менее интересны... Это и есть подобие той иллюзорной шестидесятичнической близости. И тоже проходит быстро. Или надо перестать пить — или расстаться с какими-то иллюзиями...

Если говорить о сегодняшней атаке на шестидесятичников, меня раздражает именно то, что она неискренняя! Все задним числом спланирует гораздо сильнее, чем это было на самом деле.

отступили перед этим плохим. Провал перестройки — это провал лицемерия. Но то, что они — часть шестидесятичников, наиболее запутавшаяся в социалистическом иллюзиях и наиболее лицемерная, — начала перестройку, все равно это их великая заслуга.

Услышав про вообще кого-то обвинять, Вот я говорю, что Керетич — человек не моего круга. Но я к нему отношусь гораздо лучше, чем к самому себе. В Дании у меня был разговор с друзьями, которые чуть не хохотали: вот у нас был Керетич, мы его прижили к стене, почему он не признается в том, что и в том-то... Я им сказал: ребята, ваше дело, конечно, так поступать, но вот, предположим, те претензии, что вы предъявляли к нему, вы не сможете предъявить ко мне. Так получилось, что я не арест, не писал того, чего я не любил. Я не хвалил того, что я не любил. Но уверяю вас, что моя жизнь стоит в несколько тысяч раз меньше, чем жизнь Керетича! И это не самоуничижение. Я все-таки всегда был, не считая Денниса Давидова — партизаном. И в либертарианстве тоже. Я всегда на обочинах шуровал, стараясь не лезть в самый центр. По левому, в общем, штырь... А вот люди, которые делали это дело — да, они, может, больше замарались, заслужили гораздо больше упреков, чем люди моего типа. Но вот как раз так, как я, и должны скромно знать свое место. И Горбачева поэтому я глубоко уважал, как бы к нему лично ни относился. У него есть историческая роль, и она огромна...

— Станислав Борисович, у меня ощущение, что вы защищаете шестидесятичников по одной лишь причине — у вас вызывает неприязнь те, с чьей стороны критика исходит...

— Конечно, вы можете сказать — отчасти да. Вот я читаю, с какой ненавистью говорят о шестидесятичниках Фридрих Горенштейн. Для него это слово — во всех отношениях ругательное! И эта ненависть мне симпатична. Он несправедлив в чем-то, но для меня это не имеет значения, это инстинкт. Потому что за этим стоит определенный... золотой запас. Я здесь не вижу попыток самоутвердиться, а вижу выстраданность, вижу судьбу...

Когда на шестидесятичников нападают ребята из так называемого андеграунда — я часто вижу в этом мелкую злобу, которая мне не раздражает даже, а огорчает. Искренне огорчает! Преподложим, шестидесятичниками променяли свое наследство — давайте даже допустим, что это так. Духовное банкротство, какие угодно слова... Но в любом случае, винить людей, которые находятся в беде! Провидя свою нелегкую судьбу, я позволю себе на минуту венок, а уж после этого, прождет какое-то время — можно, если уж вам нестерпимо, садиться на нее гадить. Но да начала соблюдать приличия — поддаться пересуду добродушью! Вот нет этого добродушья. Я не вижу его. У наиболее умных, как Тимофеевский, — холодное высокомерие. Наиболее глупые не могут сдержать свои инстинкты. Я боюсь, что если понятие «шестидесятичниками» стало таким модным — то это как раз новая и самая огорчительная иллюзия в нашем безыллюзионном поколении...

— Вы думаете, что критика шестидесятичниками — это поиск врага?

— Я в этом убежденно все больше. Это поиск очень удобного врага. Это враг достаточно престижный — это вам не коммунисты, о которых уже говорили скучно. Это враг, который включается в себя очень много промислов. Больше того, я, к сожалению, здесь вижу обиду со стороны андеграунда, который выплывает на волю, выходит на поверхность, — обиду на то, что места заняты в общественном сознании, что читать будут все-таки больше Искандера и Окуджава, чем Пригова. При том, что Пригов человек одаренный.

Я не хочу говорить, что мне не нравится эта поросль, которая сейчас ходит в литературу. Там есть люди замечательно талантливые и есть люди бездарные. Есть Венедикт Ерофеев, которому судя по великим писателям, и есть Виктор Ерофеев, существо малоодаренное и довольно противное. Есть, скажем, очень нравящийся мне Тимур Кибиров — и есть Кедров, совершенно бездарный человек, просто не наде-

тельный как стихотворец ни капелькой дарования... — Станислав Борисович, а вам не кажется, что вы по порою миф о шестидесятичниках, то-то-то не создаете миф о ком-то с странным индигуи? Люди, которых вы перечислили, не имеют между собой крайне мало общего...

— Правильно, я не только с вами согласен, я об этом неоднократно писал. Все они очень разные. Но их тяга друг к другу... Она иллюзорна! — Вы упрекаете их в том, что они хотят стать общими, пытаются свертывать авторитеты, зная места талантливых шестидесятичников. А можно эту ситуацию увидеть иначе: вы, шестидесятичники, боитесь допустить людей из андеграунда...

— Куда? Куда я их не могу допустить? Чем я владею? Выниманием публики? Ну за внимание публики каждый ерзается в одиночку. Я, Искандер, Евтушенко — куда могли их не пускать? У нас нет ни журналов, ни газет... У меня не было и нет такого органа, где бы я мог что-то порекомендовать. Я бы пользовался кем-нибудь извне, где бы я мог что-то порекомендовать. А если речь о том, что я не приемлю андеграунда... Видите ли, я не боюсь слова «коррпунктизм». Я помню, что в нем есть вполне благородный корень «граница». Я прожил большую часть своей жизни, мои вкусы сложились. Но мне в голову не приходит, упаси Бог, считать, что я совершенно прав. Когда я говорю о Пригове, меня огорчает не то, что он мне не нравится, — а то, что Олейников делал это в миллион раз лучше. То, что Харис был гораздо

родилось не в 60-е! Шестидесятичничество, если вам угодно, оно как ушло — ну а ушло оно не очень хорошо — пыталось возродить эту традицию. Просветительство началось с Радищева, с Фонвизина, о котором я не случайно написал книгу... Просветительская традиция для меня сводится к очень простой формуле: человек божествен, его предназначение божественно, и человек выше того, что он пока еще может. Поэтому я не люблю цинизма, не люблю издевки над человеком... Пока я знаю одну русскую литературу — это, может быть, лучше, что дала Россия за всю историю. И все русские литераторы были в той или иной степени или пытались быть учителями жизни. И Пушкин, и Толстой, и даже Тютчев...

— Вы не согласны с тем, что эта традиция, как раз сейчас, после неупомянутых попыток шестидесятичниками, может быть, уже выродилась, пошла и логическому завершению?

— Во-первых, давайте посмотрим. Как человек, который имеет право называть себя историком литературы, а категоричный претензия: подобный предположений. Я вообще очень низко мнения о способности современных оценок оценить то, что происходит сейчас. Если вы думаете, что я за гробом огорчусь, если выяснится, что за Приговым и за подобной литературой великая роль — вы ошибаетесь. Но эта торопливность, с которой я, едва появившись на свет, начинаю кричать, что я и есть то, что дала русская литература, и поэтому уже теперь отменяется — это, вы знаете, ребячество!

— В нынешних писательских драмках вы не участвуете?

— Боже упаси! Я даже не знаю, как называется тот союз, в котором я состою. Вот сейчас мне прислали бумагу! Я должен определиться, а как я состою. Но тут ведь оказывается в каком-то лагере не потому, что там тебе еще нравятся, а потому, что, как писал Гамойлов, «некуда податься кроме них». Конечно, я охочусь в том союзе, где нет Бондерева, Кузнецова, Проханова и прочего...

— Вы в статьях своих по-прежнему к этим фигурам возвращаетесь...

— Потому что они мне омерзительны! И азиять на них философически спокойно у меня не получается.

— А почему вы не попробуете приваить их к стыду?

— Не надо уж меня до такой степени кривым провозглашать! Говорить о стыде применительно к ним — это идиотизм. Не случайно же к показанию воззвал не Бондерева, а Лихачев. И каяться наиболее совестливые, лучшие из нас, как правило, безгрешные или грешившие очень мало. Я уже писал, что мы заигрались в «покаяние». Мы все каемся, каемся — я не хочу за них каяться! Мне надоела эта условная консолидация. В их души — зерно добра! Я же знаю, что это... У нас нет ощущения, что они победили? Не в борьбе за власть — а в умах?

Думаю, что нет. Я не исключаю того, что они победят самым очевидным физическим образом. Но дело в том, что это вообще больше склонно к объединению. Самая утопическая фраза у Толстого — то, что он говорит устами Бездухова: если злые люди объединятся, то добрым нужно сделать то же самое, вот как просто! Это не просто, и этого никогда не будет. Злые люди объединяются именно потому, что они безразличны. Им легко объединиться. Я же знаю по привычке моего соратника, по привычке, как они друг друга ненавидели! Кто-то урвал кусок похуже, кто-то опоздал... Но они точно знали, что им нельзя вразброд, что они должны вот этой сплочкой. Люди порядочные — бессильны изначально. Вот вам просветительство, вот вам его безразличная утопичность! Каждый мечтает о своей форме добра, знает, как человечество придет к счастью. У каждого своя логика. Иначе бы не было этих дорожек не скатываться — и не начинаются обиды друг на друга, ссоры, драки. В этом смысле наше демократическое общество, что она не прагматична, на Западе демократия возросла на прагматике — люди поняли, что иначе скатываться...

— На что же надеяться?

— Я надеюсь на стабильность, связанную с теперешней властью, которая она ни была. Я верю в честность Гайдара и Ельцина, но не верю в честность многих из их окружения. Но ко всему, что связано с увлечением этой властью, — я отношусь положительно. А если речь о духовной жизни?

— Тут я полный фаталист. Как будет — так будет. Я не преувеличиваю значения не только себя самого — об этом даже смешно говорить, но и вообще того, что ни было. Включая Солженицына. Даже если он вернется, то никакой Ясной Поляны не получится. Меня не пугает то, что люди перестают читать книги. Я всегда считал, что и это явление, может быть, в мире читателя! Это плохо, но не очень. Очень много. Значит, вернувшись в основном, авторы — это значит, от безынициативности людей уходило в книгу. То, что перестают читать — хорошо. Это тяжело для пишущих людей, им выжить трудно. Но ведь культ книги, который у нас был, — это же фиктивный культ, фальшивый! Давно еще я писал, что стадионы, приходящие на Евтушенко и Вознесенского, — это ужасно, это плохо! Потому что люди, которые пришли на них, не глупые, а все-таки начинают чувствовать себя читателями. И я писал тогда, что Ахматова не собралась бы стадион. А потом я стал думать еще хуже: собралась бы. И это было бы совсем чудовищно! Все-таки книга, тем более поэзия — это дело элитарное, для немногих. Большинство должно смотреть телевизор. Если начнется нормальная жизнь, если будет вера в будущее, если возникнет частная собственность, и люди начнут жить нормально, пристойно, сытно, то те, кто замесивается бизнесом или земледелием, — перестанут быть читателями. Тем читателями, которыми так гордились наша литература: Людям, которые имитируют духовные интересы только ради того, что чудовищно имеют не могут, и не могут возмещать своей машиной, своим участием, своим домом — они не будут читать...

— Это будет лучше?

— Это будет нормально...

С гостем встречался Максим МАКСИМОВ

Фото Николая СТЕПАНЕНКО

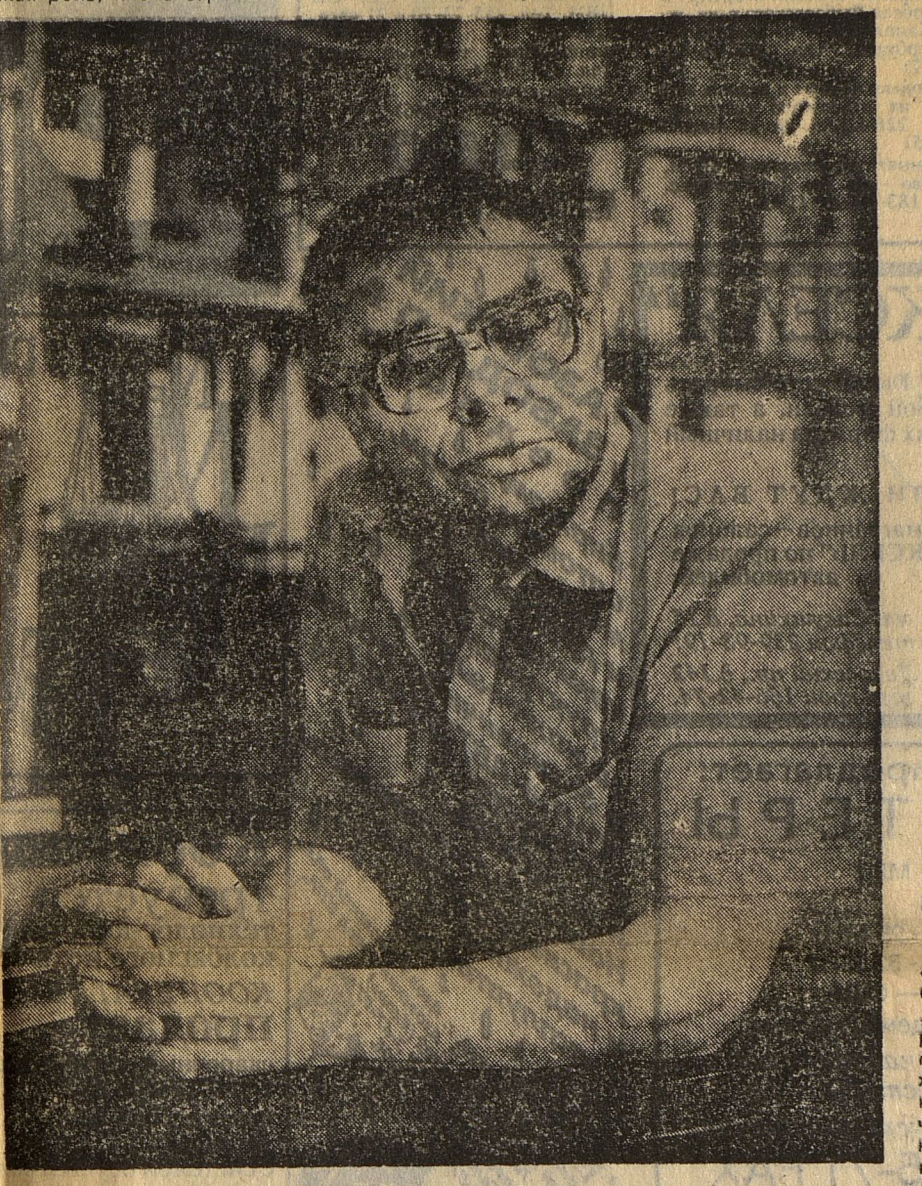
# НИЧЕЙ

— Я держусь за свою ограниченность как за часть своего вкуса. Я не хочу впускать в себя все!

— говорит критик

и литературовед

Станислав РАССАДИН



— Станислав Борисович, у меня ощущение, что вы защищаете шестидесятичников по одной лишь причине — у вас вызывает неприязнь те, с чьей стороны критика исходит...

— Конечно, вы можете сказать — отчасти да. Вот я читаю, с какой ненавистью говорят о шестидесятичниках Фридрих Горенштейн. Для него это слово — во всех отношениях ругательное! И эта ненависть мне симпатична. Он несправедлив в чем-то, но для меня это не имеет значения, это инстинкт. Потому что за этим стоит определенный... золотой запас. Я здесь не вижу попыток самоутвердиться, а вижу выстраданность, вижу судьбу...

Когда на шестидесятичников нападают ребята из так называемого андеграунда — я часто вижу в этом мелкую злобу, которая мне не раздражает даже, а огорчает. Искренне огорчает! Преподложим, шестидесятичниками променяли свое наследство — давайте даже допустим, что это так. Духовное банкротство, какие угодно слова... Но в любом случае, винить людей, которые находятся в беде! Провидя свою нелегкую судьбу, я позволю себе на минуту венок, а уж после этого, прождет какое-то время — можно, если уж вам нестерпимо, садиться на нее гадить. Но да начала соблюдать приличия — поддаться пересуду добродушью! Вот нет этого добродушья. Я не вижу его. У наиболее умных, как Тимофеевский, — холодное высокомерие. Наиболее глупые не могут сдержать свои инстинкты. Я боюсь, что если понятие «шестидесятичниками» стало таким модным — то это как раз новая и самая огорчительная иллюзия в нашем безыллюзионном поколении...

— Вы думаете, что критика шестидесятичниками — это поиск врага?

— Я в этом убежденно все больше. Это поиск очень удобного врага. Это враг достаточно престижный — это вам не коммунисты, о которых уже говорили скучно. Это враг, который включается в себя очень много промислов. Больше того, я, к сожалению, здесь вижу обиду со стороны андеграунда, который выплывает на волю, выходит на поверхность, — обиду на то, что места заняты в общественном сознании, что читать будут все-таки больше Искандера и Окуджава, чем Пригова. При том, что Пригов человек одаренный.

Я не хочу говорить, что мне не нравится эта поросль, которая сейчас ходит в литературу. Там есть люди замечательно талантливые и есть люди бездарные. Есть Венедикт Ерофеев, которому судя по великим писателям, и есть Виктор Ерофеев, существо малоодаренное и довольно противное. Есть, скажем, очень нравящийся мне Тимур Кибиров — и есть Кедров, совершенно бездарный человек, просто не наде-